

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗОЛОТОГО ВЕКА.  
XIX СТОЛЕТИЕ В СТИХОТВОРЕНИИ МАНДЕЛЬШТАМА  
«ДИКАЯ КОШКА – АРМЯНСКАЯ РЕЧЬ...»<sup>1</sup>

Стихотворение Осипа Мандельштама «Дикая кошка – армянская речь...» (1930 г.) нуждается, подобно многим другим произведениям поэта, в «классическом», построчном или по крайней мере построчном комментарии, снабжающем читателя необходимыми биографическими и интертекстуальными подробностями. При этом, однако, оно требует и поиска скрытых ключей-отсылок, легко ускользающих при пошаговом комментировании, но позволяющих обнажить более глубокие пласты мандельштамовской смысловой поэтики, значимые не для одного этого текста.

В данном случае поиск ключа тем более оправдан, что Мандельштам эксплицитным образом выстраивает это стихотворение как своеобразную «историю болезни», как фиксацию отрывочных чувств и обостренных лихорадкой впечатлений. Тем самым поэт сразу же заявляет о своем праве на нелинейное построение композиции текста, на неожиданное соположение образов с изменяющимися пропорциями, на их калейдоскопичность, причудливую и внезапную смену:

*Дикая кошка – армянская речь –  
Мучит меня и царапает ухо.  
Хоть на постели горбатой прилечь:  
О, лихорадка, о, злая моруха!*

*Падают вниз с потолка светляки,  
Ползают мухи по липкой простыне,  
И маршируют повзводно полки  
Птиц голенастых по желтой равнине.*

*Страшен чиновник – лицо как тюфяк,  
Нету его ни жалчей, ни нелепей,*

---

1 В данной научной работе использованы результаты проекта «Восток и Запад Европы в Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное пространство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г.

*Командированный – мать твою так! –  
Без подорожной в армянские степи.*

*Пропадом ты пропади, говорят,  
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, –  
Старый повытчик, награвив деньжат,  
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.*

*Грянет ли в двери знакомое: – Ба!  
Ты ли, дружище, – какая издевка!  
Долго ль еще нам ходить по гроба,  
Как по грибы деревенская девка?*

*Были мы люди, а стали людье,  
И суждено – по какому разряду? –  
Нам роковое в груди колотье  
Да эрзерумская кисть винограду*

(Мандельштам 1990: т. I, 167).

У большинства чередующихся здесь фантазмагорических образов заведомо существуют литературные прототипы, более или менее отчетливо ощущаемые каждым русским читателем, но при этом не так легко поддающиеся точной расшифровке. Читатель этот погружается вместе с героем (героями) стихотворения в некий горячечный мир, где все мучительно знакомо, но ничего невозможно узнать наверняка, до этого узнавания все время остается как бы один шаг, необходимый и – в рамках самого стихотворения – неосуществимый.

Что же это за мир? Для начала обозначим пунктиром те из его примет, которые лежат на поверхности или более или менее общеизвестны. Во-первых (и это исследователями, как правило, специально не отмечается), практически весь цикл стихов об Армении, к которым примыкает и интересующий нас текст, – это рассказ не столько о путешествии в пространство, сколько о перемещении во времени. Конечной точкой такого перемещения для поэта зачастую становится глубокая древность, причем речь идет и о древних цивилизациях, и о том, что лежит за пределами цивилизации – о временах появления человеческого языка, зарождения жизни как таковой, о ее формах, еще практически неотделимых от геологического ландшафта.

Другой, не менее важной точкой погружения в прошлое оказывается, как ни странно, XIX век, столь близкое прошлое, которое в начале 30-х гг. XX столетия так легко было бы счесть «золотым веком». «Дикая кошка – армянская речь...», вне всякого сомнения, отсылает читателя именно к этой эпохе, ровно на столетие назад. Связь этого текста со временами Пушкина и Грибоедова, казалось бы, очевидна и, во всяком

случае, неоднократно отмечалась исследователями. В самом деле, здесь в последней строфе мы находим и эрзерумский виноград, явственно отсылающий нас к пушкинскому «Путешествию в Арзрум» (Нерлер 1990: т. I, 506), и традиционно связанную с поездкой Пушкина на Кавказ фразу о чиновнике без подорожной (Сурат 2009: 13), но как бледны и фрагментарны эти ассоциации!

Их малочисленность становится особенно заметна, если сравнить окончательный текст стихотворения Мандельштама с его сателлитами: черновыми редакциями и отпочковавшимся самостоятельным кратким фрагментом «И по звериному воет людье...». В нем пушкинские биографические и литературные реминисценции звучат куда отчетливее, и в явном виде появляется, например, рассказ о встрече Пушкина с телом Грибоедова<sup>2</sup>. В интересующем же нас стихотворении все это отходит на второй план, затушевывается и распадается. Уже отмечалось, в частности, что *чиновник без подорожной* в «Дикая кошка – армянская речь...», хотя и отсылает к общеизвестным деталям пушкинской биографии, отнюдь Пушкину не тождественен (Сурат 2009: 233). В сущности, все, что остается от Пушкина в этих стихах, – это эрзерумский виноград, со всей очевидностью символизирующий поэзию.

Подобное размывание пушкинской линии, вернее, превращение ее в тему поэтического творчества как такового, на наш взгляд, далеко не случайно. Литературный фон значительной части этого стихотворения, безусловно апеллирующего к первой половине XIX в., связан вовсе не с теми литературными образцами, которые приходят на ум в первую очередь, когда мы слышим слово Эрзерум и обращаемся к истории «русского заселения Кавказа» (Гаспаров 2001: 646). Мы наблюдаем, как творческий дар сталкивается с вязкой и агрессивной средой, которая в XIX в. оказывается столь же могущественной, как в современности. Болезненная и вместе с тем глубоко бытовая фантазмагория этого текста (в особенности, четвертой и пятой его строф) отсылает не к ожидаемым Пушкину, Грибоедову или, скажем, Лермонтову, а к автору, никогда на Кавказе не бывавшему и ничего заметного о нем не написавшему, но зато снабдившего все последующие поколения русских читателей плотной и страшной картиной повседневности той эпохи.

Речь идет, конечно же, о Гоголе, в первую очередь, о его «Мертвых душах», но не только о них. Для Мандельштама в ту пору Гоголь представлял, в частности, как путешественник, описывающий лежащие перед ним нравы и земли, подобно тому как натуралист изучает и каталогизи-

---

2 Ср.: «[Грянет же] Грянуло в двери знакомое: ба! / Ты ли дружище – какая издевка / Там, где везли на арбе Грибоеда / Долго ль еще нам ходить по гроба / Как по грибы деревенская девка» (Мандельштам 1990: т. I, 506).

рует флору и фауну никем до него не описанного края<sup>3</sup>. Если Петр Симон Паллас, к примеру, с тонкими подробностями и ажурной точностью характеризует встреченные им в России экзотические виды насекомых, грызунов или растений, то на долю Гоголя достается описание многочисленных диковинных видов людей, населяющих империю<sup>4</sup>. Помимо всего прочего, в глазах Мандельштама Гоголя роднит с естествоиспытателями то обстоятельство, что однажды заданной теми образцовой классификацией, систематическими описаниями будут еще долго пользоваться последующие поколения, принимая их как единственно возможные.

В самом деле, словосочетание *старый повытчик*, напрямую никак не связанное с привычными реалиями Кавказа пушкинской эпохи, медленно обрастает плотью, когда вспоминаешь начало чиновничьей карьеры Павла Ивановича Чичикова:

*Но при всем том трудна была его дорога: он попал под начальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непоколебимости; вечно тот же, непреступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. <...> Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не*

- 3 Ср., например: «Вообразите спутником Палласа не кого иного, как Н.В. Гоголя. Все для него иначе. Как бы они не перегрызлись в дороге. Карета все норовит свернуть на сплошную пахотную землю» (Мандельштам 1990: т. II, 364).
- 4 Ср.: «Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямицкой скуки. В ее [мнимой] однообразности, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел неслыханное [разнообразие круп, материалов, прослоек] богатое жизненное содержание. Паллас – талантливейший почвовед. Струистые шпаты и синие глины доходят ему до сердца... Он испытывает натуральную гордость по случаю морского происхождения бело-желтых симбирских гор и радуется их геологическому дворянству» (Мандельштам 1990: т. II, 364) или «Здесь барская изоциренность и чувствительность глаза, выхоленность и виртуозность описи доведены до предела, до крепостной миниатюры. „Азиатская козявка (*Chrisomela asiatica*) величиной с сольтициального жука, а видом кругловатая с шароватой грудью. Стан и ноги с прозеленью золотья, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылия гладкая, лоснящиеся, с примесью фиолетового цвета черныя. Усы ровныя, передняя нога несколько побольше. Поймана при Индерском озере“. Описанная Палласом азиатская козявка костюмирована под китайский придворный театр, под крепостной балет. Натуралист преследует чисто живописные феерические задачи. Он забывает упомянуть анатомическую структуру насекомого» (Мандельштам 1990: т. II, 369–370).

намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его.

Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с **старым повытчиком**, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замаялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что **старый повытчик**, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!» (Гоголь 1952–1953: т. V, 239–240 <гл. 11 первого тома>).

Очевидно, что **старый повытчик** – это своего рода концентрированный ужас безликой, лишенной каких бы то ни было индивидуальных черт обыденности. Его социальный статус весьма невысок, тем не менее в чиновничьем микрокосме эта фигура всесильна в своей непреодолимости и неизбежности, недаром для Чичикова во всей его карьере пресловутый старый повытчик оказывается наиболее трудным препятствием. В сущности, единственный способ преодолеть эту преграду – это сделать повытчиком самому, что Павел Иванович и осуществляет с помощью своего ловкого трюка.

Следующий персонаж, возникающий в мандельштамовском тексте, – это некий **бывший гвардеец**, фигура, на первый взгляд, более подходящая для традиционного воплощения кавказской темы. В самом деле, существует своего рода общее место, согласно которому на Кавказ ссылали гвардейских офицеров, разжалованных за дуэль, *смывших* оскорбление кровью. Однако Мандельштам употребляет здесь предельно сниженное, хотя одновременно и предельно близкое выражение: «бывший гвардеец, *замыв* оплеуху». Оказывается таким образом, что речь идет о человеке, которому то ли не удалось до конца смыть оскорбление, то ли он вовсе не решился на него ответить, скрывшись на Кавказе. Глагол *замыть* недвусмысленно намекает на некую историю, по-видимому, не делающую чести ее участнику, подробности которой так или иначе стерлись. Строго говоря, остается неясным даже, был ли наш гвардеец «оскорбителем» или «оскорбленным», и неясность эта, на наш взгляд, намеренная.

Именно так характеризуется, как мы помним, главное действующее лицо гоголевской «Коляски» Пифагор Пифагорович Чертокуцкий: ... *вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется неприятною историею: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху или ему дали ее, об этом наверное не помню, дело только в том, что*

*его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу: носил фрак с высокою талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы, потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно называл иногда пехтурой, а иногда пехонтарией. Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, детей, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие и во сне никому не снились* (Гоголь 1952–1953: т. III, 163).

Если *старый повытчик* являет собой, так сказать, демона безликой неподвижности, то здесь перед нами своего рода демон всепроникающей общительности, навязчивости и беззастенчивости. Он столь же мелок и незначителен, как предыдущий персонаж, но точно так же не оставляет надежды на спасение, от него невозможно укрыться.

Этот вездесущий и всепроникающий герой, несколько не уронивший своего весу от оплеухи, со всей очевидностью весьма тесно связан с образом, появляющимся в следующих строках Мандельштам: *«Грянет ли в двери знакомое: – Ба! Ты ли, дружище, – какая издевка»*. По этому знакомому «Ба!» и всей бесконечно фамильярной манере без труда опознается Ноздрев, а точнее говоря, эпизод встречи Чичикова с Ноздревым на пути к Собакевичу:

*«„Ба, ба, ба!“ вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. „Какими судьбами?“*

*Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить ты, хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода»* (Гоголь 1952–1953: т. V, 66 <гл. 4 первого тома><sup>5</sup>).

В стихотворении функция этих существ, могущественных и все- сильных в своей пошлости – вытолкнуть, вытеснить из жизни, из реальности того, кому они являются, страдающего лихорадкой большого (?), путешествующего без подорожной чиновника (?) автора стихотворения (?) (*Пропадом ты пропади, говорят, // Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу*).

5 В контексте такого сопоставления эпитет *знакомый* в стихотворении приобретает, на наш взгляд, известную амбивалентность, указывая одновременно как на знакомство между собой протагонистов текста, так и на известность, узнаваемость этого персонажа для читателя. Ср. также в этой связи известные реплики Фамусова («*Ба! знакомые все лица!*») и Чацкого («*Ба! Друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!*») в «Горе от ума» Грибоедова.

При этом гоголевские герои у Мандельштама, как нетрудно заметить, изображены весьма обрывочно и фрагментарно, так сказать, перечислены по характерным приметам. Очевидно автор рассчитывал на то, что читатель в состоянии почти бессознательно, автоматически достроить все остальное и вообразить себе этих демонов обыденности XIX века во всей их полноте, возможно даже не вспомнив об их создателе.

В самом деле, может показаться, что в стихотворении Мандельштам апеллирует непосредственно к исторической действительности, темной стороне минувшей эпохи первой половины XIX в., «золотого века» русской поэзии, стороне, противопоставленной творчеству. Однако, как мы попытались показать выше, весь этот ужас агрессивно-безликой реальности, сконцентрированный в четвертой и пятой строфе, сделан исключительно из гоголевского материала.

На наш взгляд, назвать при этом «Мертвые души» или «Коляску» подтекстами для стихотворения Мандельштама было бы неверным и, в определенном смысле, наивным решением. Скорее поэт пользуется тем, что эти тексты сыграли столь значительную роль в синтезе некоторой неопределенной субстанции, которую можно назвать культурным фондом представлений русского читателя об определенной эпохе. В этом пространстве литературные образы оказываются как бы равными реальности, а реальность тождественна той ее литературной интерпретации, которую некогда сконструировал Гоголь. Именно поэтому по упоминанию одной характерной черты оказывается возможным реконструировать целый характер, а по двум-трем характерам – нерадостную ипостась минувшего века, перекликающуюся с бедствиями века нынешнего.

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Гаспаров 2001 – *Гаспаров М.Л.* Комментарии // *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 2001.
- Гоголь 1952–1953 – *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений. М., 1952–1953. Т. I–VI.
- Мандельштам 1990 – *Мандельштам О.Э.* Сочинения / Вступ. ст. С.С. Аверинцева, сост. С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера, подгот. текста и комментарии А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера. М., 1990. Т. 1–2.
- Нерлер 1990 – *Нерлер П.М.* Комментарии // *Мандельштам 1990.*
- Сурат 2009 – *Сурат И.З.* Мандельштам и Пушкин. М., 2009.